

В пространстве противоречий воспитания

Г. В. Лобастов^{1,2}

¹ *Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия*

² *Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) — МАИ, Москва, Россия*

lobastov.g.v@yandex.ru

В форме эссе осуществляется попытка раскрыть смыслы нравственных противоречий, обосновать необходимость выхода рефлектирующего сознания на абсолютные основания человеческого бытия; ставятся и обосновываются узловые проблемы развития нравственного самосознания, его связь с идейным содержанием культурно-исторического бытия; автор пытается утвердить мысль, что проблема человека не только всегда остается открытой, но и имеет вполне определенные, обоснованные в себе, решения; свобода и истина определяются как моменты абсолютного содержания в составе личностного бытия, как формы и условия способности человека быть субъектом. Проблемы разворачиваются с опорой на материал художественных образов.

Ключевые слова: нравственное действие; мышление; логика; справедливость; свобода; противоречие; идея; человек; убийство; смерть; совесть; истина; воспитание.

In Space of Education Controversies

G. V. Lobastov^{1,2}

¹ *Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia*

² *Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia*

lobastov.g.v@yandex.ru

The author tries, in a form of essay, to reveal the meanings of moral contradictions, to justify the need for reflecting consciousness' coming into absolute foundations of human being; he defines and substantiates key problems of moral self-awareness development, its connection to ideological content of cultural and historical existence. The author tries to confirm a thought that problem of a man not only remains always open but has well defined solutions substantiated in themselves; he defines freedom and truth as moments of absolute content within personal being, as forms and conditions of human ability to be a subject. The problems are expounded resting upon word-picture matter.

Keywords: moral action; thinking; logic; justice; freedom; contradiction; idea; man; homicide; death; conscience; truth; education.

«Зачем же он стоит? — думает о себе восьмилетний Тёма. — Он свободен, его никто не держит, он может убежать... Никуда он не убежит. Он будет мучительно-тоскливо ждать. Отец не спеша снимет этот гадкий ремешок, сложит вдвое, посмотрит на сына; лицо отца нальется кровью, и почувствует, бесконечно сильно почувствует мальчик, что самый близкий ему человек может быть страшным и чужим, что к человеку, которого он должен и хотел бы только любить до обожания, он может питать и ненависть, и страх, и животный ужас, когда прикоснутся к его щекам мягкие теплые ляжки отца, в которых зажметса голова мальчика» [1, с. 17].

Самый близкий, которого хочется любить до обожания, может стать страшным и чужим; в какие-то мгновения жизни к нему возникает ненависть, страх и даже животный ужас...

У Владимира Тендрякова в повести «Расплата» пятнадцатилетний подросток убивает отца. Отца, который постоянно бил его мать, не давал нормальной жизни сыну, без конца пил и был как будто без всяких мотивов злым и жестоким — ко всем. Все готовы не заметить или оправдать мальчика. «Он когда-нибудь был справедливым? — вопрошает его близкая ему одноклассница. — Добрым был?.. Ни-ког-да!.. Ты страшное сделал. Да! Страшное, но справедливое! Ради добра, Коля. Ради того, чтобы маму спасти. Ты гордиться собой должен, что зверя... да, зверя опасного поборо!» [2, с. 322].

И вот ответ сына-убийцы: «Стыдиться меня нужно и... ненавидеть. <...> Я сам себя ненавижу, Соня» [2, с. 321].

Ученый люд давно в задумчивости: что же такое человек? Все как панички, — когда вокруг полицейские порядки, а на самом деле — «в тихом омуте черти водятся». То отца убьют,

то королю голову отрубят, то, как Тарас Бульба, в справедливом гневе, восхищающем нас, сына пристрелят. Давно спорят — от природы в человеке всего (от высокой духовности до предельно выраженного зверства) намешано или от социально-общественной среды и от воспитания? То в генах копаются, то господа бога проклинаяют, создавшего людей такими.

Легко просчитать поведение любого животного, а попробуйте просчитать душу человека. Вон как эту душу вывернул Достоевский! Чего нашел? Даже в ценности логики усомнился, где-то сказал, что логика предскажет нам три случая, а их миллион. Теперь в мыслях Достоевского копаются, ищут, что он нашел.

Нашел, однако, он немало. Целое направление в философии считает его своим истоком, своим предтечей, и развернуло целое поле представлений о сути, способах и феноменах человеческого существования. Иначе говоря, попыталось понять, что же такое человек в его явленном бытии, какие кошмары его души имеют всеобщее хождение (значение), а что в ней просветленного и ясного, каков смысл его существования и связан ли он с какой-либо сущностью. Добро и зло, ответственность и судьба, свобода, страх, боязнь, боль, одиночество, тревога, отчаяние, кризис. Все вошло в словарь экзистенциализма.

Но мир человеческий, даже без попыток проникновения в таинственную человеческую душу, давно организует его, человека, так, как того требуют обстоятельства. А обстоятельства бывают разные. И масштаб у них разный. Отец Тёмы генерал, и генерал знает, что нельзя допустить, чтобы из сына вырос «слизняк». Любое сильное государство сильно только тогда, когда у него в кармане армия тех, кто «не слизняк»

и в нужный момент знает, кого надо убивать, — чтобы жить: все должно быть заранее отработано, выстроено в определенных и четких мыслях и прочно погружено в чувства. У того же Тендрякова в той же повести система нравственного воспитания главного героя, школьного учителя, страшно правильная, как «десять заповедей Христа», как «моральный кодекс строителя коммунизма». Но как только по этой системе дети начинают жить, дело, как случилось по сюжету повести, доходит до отцеубийства. Учитель мучается тем, что, правильно делая, он сделал неправильно, — и кончилось это трагедией.

А вспомните Павлика Морозова? Идет против отца, исключительно исходя из общественных идеалов и, казалось бы, вопреки своему уютному благополучию. Убийство Иваном Грозным своего сына — это только достаточно распространенный пример открытого и тайного убиения во властных сферах во всех странах и во все времена. И в русской истории душат подушками, заточают в монастыри, рубят головы. И не кто-нибудь, а родственники. Ибо общественные отношения таковы, что, как говорит Маркс, капиталист за триста процентов родную мать убьет. Что там говорить о рэкетирах, рейдерах, киллерах и т. д. (боже, ну как додуматься не могут произносить слово *патриотизм* по-английски!). Это обычная практика, и даже специально обученная полиция ничего тут поделать не может. Но «в гармонии мира страшны не те казни, не те убийства, которые совершаются во имя злобы, во имя личной мести, во имя стихийного звериного чувства, а те, которые совершаются во имя любви к человечеству и к человеку» [3, с. 275].

Такое впечатление, что как будто никто не задумывается над человеческим смыслом вокруг происходящего и все

радуются, если удалось «прихватить» кусочек счастья, выражаемого не человеческой мерой, а деньгами. В любом необходимом случае отчитаются числом изловленных, осужденных и т. д. — как школа у Тендрякова спокойно закрыла в начальствующих структурах своего ведомства вопрос с отцеубийством обоснованием своей непричастности.

И никаких нравственных мук! Мучается, повторяю, только автор системы «правильного» школьного воспитания. Читатель, конечно, в нем увидит вырожденный тип (как видели то в фильме Сергея Микаэляна «Премия», где герой, сыгранный Е. Леоновым, отказывается от премии как безнравственного и разрушительного акта), самоедство, уходящее корнями в отдаленные обстоятельства, в которых чуткий ум героя повести, учителя, увидел порождающее начало *преступлений вообще*, а потому и себя — как причастного к той действительности, где не ведают, что творят. Раскольников убивал, чтобы узнать, червь он земной или ему все позволено. Что он преступил закон, это мелочи, — он совершил большее, он преступил то, чем мается человечество во все времена: позволено ли убить? Сократ, приговоренный к смерти афинской демократией и имеющий возможность бежать, не бежит. А выпивает по приговору суда яд. Не бежит, — именно чтобы сохранить незыблемым статус всеобщего, закона. Такой случай, убить себя во имя всеобщего закона, может, единственный в истории. Наоборот — сколько угодно: закон убивает частное лицо во имя сохранения себя, закона. А частное лицо поймет предложение бежать как удачливое счастье, ибо только и норовит, как из-под суда выбраться. Хапанул, никто не видел — и счастлив!

«Это очень интересно и важно: непонятная веселость сталкивается со страшной серьезностью, а у нас всегда

так страшно серьезны. Это для меня, пожалуй, одно из интереснейших, редчайших происшествий за последнее время. Вы должны непременно написать об этом». И Хемингуэй пишет рассказ «Мотылек и танк» с описанием убийства в баре. Человек купил пульверизатор, зарядил его одеколоном и, дурачась, брызнул в официанта... Уже два года война, атмосфера напряженная, нервы натянуты. Ситуация взорвалась, и завершилось тем, что его убивают. Кто это сделал в толпе? «И я подумал, что полиция не сумела бы... ответить, даже если бы знала имя человека, спустившего курок» [4, с. 197—198]. У Камю в повести «Посторонний» убийство происходит, казалось бы, вообще без всяких мотивов. Раскольникову, уже в остроге, «грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселяющиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять,

кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга» [5, с. 529—530].

А что стоит за убийствами, совершаемыми людьми с изуродованной психикой? Суд их не судит, видимо, полагая, что люди сходят с ума по причине органических сдвигов в мозгах и селезенках, и это не их решение убивать, вина природы. Ведь если признать здесь вину формы общественного бытия, придется что-то убивать в себе, в самом этом общественном бытии. И судебское дело выльется в трагикомедию. А, с другой стороны, не вина и не осуждая себя, «человечески правовым» образом организованный суд однажды сам оказывается под судом истории, не доступным «звону злата». Помните картинку с телеэкрана? Известный в пору событий на Майдане некто Музычко вошел в кабинет прокурора и грохнул «калашниковым» об стол. Молодой, аристократически выглаженный прокурорчик, не чувствуя за собой исторической вины, побледнел и с наивным недоумением судорожно засуетился. А если бы этот — говорят, фашиствующий — Музычко с рожей громилы замочил этого чистенького в галстучке, ох, как бы все завопили: ведь во всем был хорош, мухи не обидел, старушкам улыбался, на службе только хвалебные отзывы и прочее нежное-нежное — типа детей своих любит, приносит жене цветы, даже во взятках не был замешан, совесть чиста, будь все такими, жизнь была бы «прекрасна и удивительна». А тут этот громила с героическим автоматом, ну явный фашист! А гуманизм где? Откуда только такие берутся?

И наука ищет начала, откуда такие берутся с их совсем «нехорошими идеями». Жестокая Спарта, инквизиция, Сталин и Гитлер знали, как надо освободиться от хилых и неудобных. Но ведь любая идея порождена не космосом и не в генном материале зарождается, а выталкивается в жизнь обстоятельствами человеческого — и только человеческого! — бытия, где вина каждого различна, но она есть. Начало идеи есть бессознательное ощущение противоречий бытия, невозможности быть в той форме, в какой ты есть, — и в ней, в этой идее, видится разрешающее эти противоречия начало — как для проблем индивидуального бытия, так и в общечеловеческом масштабе. Когда идея поднимается в сознание, она приобретает не только отчетливый образ, но и становится предметом внимания (научной философии), получая теоретическое выражение как *всеобщая форма выстраивания субъективных человеческих сил*. Идея, овладевшая массой, становится материальной силой, говорил классик. Полубред Раскольникова я ведь не случайно привел. В нем ума немного, но любой может заметить, сколь глубоко поражает людей всякая дребедень, попадающая на их рану. Поэтому речь должна идти не только о природе идеи, ее возникновении и способах бытия, но и об истинности ее содержания.

Каждый ответственен за истинность своей позиции, ссылая на то, что ему нечто внушили или что таковы правила, все поступают так и т. д. и т. п., не оправдывает его, любая идея, гуляющая по миру, принимается только тем, кто находит ее соответствующей себе. Каков ты есть, тем ты и обрастаешь. Но делает ли тебя то, чем ты обрастаешь, тобой? И тут, как понятно, снова возникает вопрос, что есть человек, *чем он определен в своей сути*. Либо он внешним образом

определяется идейным миром сознания (божественного или культурно-исторического), либо он сам определяет себя во всех сферах (не только в сознании) своего бытия — и потому свободен.

И потому же проблема: кто есть действительный субъект добра и зла? У Хемингуэя, можно подумать, отдаленной пружиной случившегося является война. Но если заглядывать так далеко, то нельзя избежать и вопроса: что стоит за войной? Но суд судит только персонафицированное зло. История, правда, знает осуждения умонастроений, несущих в себе зло, но в цепи заковать их не может.

Раскольников мучается не юридической — нравственной проблемой: может ли человек убить человека. А если убивать позволено, то чье же это позволение? На войну солдат идет не от страсти убивать, это собаку спускают с цепи. Палач убивает с позволения и даже по обязанности. Солдат — с патриотической гордостью. И даже получает награды. Но ведь армейское воспитание не ставит целью сделать профессиональных убийц — оно воспитывает защитников. Ибо через убиение защита. *Убить, чтобы жить*, говорят юные герои повести Тендрякова.

Но «не убий!», кричит Библия. И палач, выходя на эшафот, прячет лицо под маской. Хотя ведь и не преступник, не преступил закон, а, наоборот, проводит его в жизнь узаконенной смертью осужденного. Но все равно убийца, и пойти в палачи — это ведь надо быть готовым другого лишать жизни. Иметь ту самую *нравственную* готовность убить, каким-то образом примиренную с совестью. Ибо палач не *способен* преступать отрубает, а голову человеку, у которого, вполне возможно, есть масса всяческих достоинств. Ведь не страсть же к справедливости побуждает его,

палача, взять топор: у него профессия такая, ему за это «нехорошее» дело деньги платят. И гильотину он ненавидит, как луддиты ненавидели машины. Как мы с чистой совестью производим атомную бомбу, чувствуя ее многофункциональную значимость — от гордо-сознаваемой функции защиты Отечества до бессознательно-глубокой благодарности за рабочие места с хорошими зарплатами. Чем ружье в руках тендряковского школьника, убивающего отца, отличается от атомной бомбы в руках КНДР? А от топора в руках школьников нынешних? «Люди делятся на две большие категории: на тех, кто перед лицом непреодолимой трудности испытывают желание убить, и тех, которые, напротив, чувствуют желание покончить с собой» [6, с. 268].

А способность преступать (закон и нравственность) «отрубать», как понятно, должен не палач. Кто? Тот же самый закон? Через топор палача? Или некая система культурно-человеческого воспитания, способная так выстроить субъективность человека, замкнуть ее на такие основания, которые, восходя к субстанциальным определениям бытия, не подвержены преходящим обстоятельствам. Здесь идут на костер, здесь понимают, что «есть моменты, когда становится преступлением жить», что «надо уметь отдать свою голову, когда ее потребует народ». Говорят, эти слова принадлежат Робеспьеру.

Всматривающийся в человеческий мир глаз подрастающего ребенка, конечно, удивлен массе несообразностей. Но от проблем этой действительности его умные взрослые давно научились отвлекать канализацией его неустойчивой мысли в примитивные формы многообразного содержания, где проблемность сама по себе, как форма развита действительности, элиминируется

как «вещь», якобы уму детей недоступная. И малышня без оглядки осваивает то, что потом пригодится и для профессии палача, и для профессии защитника родины. А в случае чего — так и для самообороны. Как в повести Тендрякова, где убийство отца было самообороной нравственного достоинства жизни своей и материнской. Но только тут уму становится понятна вся противоречивость человеческого бытия и каждой вещи в нем.

Ясно, что политическое воспитание в армиях наемного типа — дело излишнее, солдат есть механизм, артикулом предусмотренный, говорил Бисмарк. Во всякой профессии думать за рамками профессии вообще вредно: как бы до чего не додумался. Думать надо не о том, куда тебя подталкивают тайные силы бытия, и вообще лучше ни о чем не думать: имеешь профессиональную рабочую силу и иди, продавай ее, у тебя эка сколько потребностей! Александр Македонский никогда бы до Персии не дошел, не плати он деньги своему войску, не позволяй насиловать и грабить города. А снять с себя нравственную ответственность — это Гитлер берет на себя. Сегодня в армию пришли попы, чтобы часть библейского греха, связанного с убиением, взвалить на Бога. Тем самым примирив с собой и Богом совесть неуклюжего умом солдата. Это проще, чем дать политическое воспитание, которое, *именно как политическое*, никак не может обойти страшное классовое расслоение, прикрытое фиговым листком демократии.

Говорят, воспитательный элемент практически ушел из школы. На самом деле (объективно, вне сознания) он из образовательной системы никогда и никуда не уходил: в жизни школы живут те же принципы, что и за ее оградой. В нынешнее время, если жизненные принципы школой хорошо усваиваются,

к ограде ставят полицейских. Ибо понимают, что моральный императив там не работает и нравственной проблематикой там уже никто не мучается. Случаи суицида, правда, намекают на ее, нравственной проблемы, присутствие, героиней повести Тендрякова тоже не далек от этого. И топор — то ли в функции палача, то ли как орудие безумства — тоже в делах школы встречается, и «государственная мудрость полиции» тут в принципе ничего поделывать никогда не сможет. Бытие, толкуют философы, определяет сознание, и никакая идея, не соответствующая этому бытию, нормальным образом прижиться в школе не может.

А что это такое — нормальный образ вхождения ребенка в мир идей? Он возможен только тогда, когда эти идеи соответствуют самому действительному миру. Потому и подумать еще надо, насколько топор в школе не соответствует принципам бытия за школой. Идеи неким образом этим бытием порождены и бродят по миру, как некогда «призрак коммунизма» по Европе. Ведь без всякой же «пионерской» подготовки дети «унюхивают» идеи фашизма и массу прочих идей. Идею коммунизма «унюхать» сложнее: она не строится на простеньких абстрактно-отвлеченных умозаключениях и коммунистическая форма бытия ох как далека еще от действительности. Ее освоить и усвоить не смогли даже те, кто клялся в верности ей и ум которых был занесен в номенклатуру ученых. И не будь в человеческой исторической культуре института церкви, сами детишки не попадали бы в религию. От имени которой «заботливые» люди начинают «спасать от греха» еще непорочные души младенцев. Без них и не ведал бы ребенок никакого бога. Когда на вопрос одного малыша, что такое бог, ему объяснили, что это существо, которое сотворило все, что есть, он был удивлен

такому определению и вопросом своим обнаружил такой ум, какой с трудом мне удавалось увидеть в многочисленных аудиториях — от студента до профессора. Это выглядит странным и неожиданным, но ведь он каким-то образом впитал в себя *идею всех идей* — идею ума как способность выстраивать любую идею согласно всеобщим определениям исторического мышления. А не готовность впитывать через бабушкино сознание прошедшее представление о боге, через дедушку — о фашизме, а через президента — о патриотизме.

Философия, как будто бы, давно поняла, что такое идея, и высветила ее силу. Но, будучи «задумчивой» по своей природе, до сих пор находится в великих сомнениях относительно ее природы: то ли ум определяет бытие, то ли бытие ум. А в жизни, в «болоте действительности», есть и то, и другое. Не умея сладить с идеей умом, отрубаяют ее вместе с головой. «Бес» ведь, как хорошо, задолго до Достоевского, показало Средневековье, иногда вселяется в людей, — и бесноватых тянут на костер либо топят в глубоких водах. В мире более милосердном их загоняют в психушку. Чем и показывают, что можно подменять не только понятия и что жизнь гораздо сложнее формальной логики с ее правилами. Палата номер шесть Чехова — хороший образ для пытающегося понять человеческий мир человека. А бесы Достоевского теперь отождествляются только с большевиками — большого ума тут нет, снова логические подмены, а лжи — немало.

Идея, не отражающая, не выражающая действительность, нормальным образом, легко и сообразно логике бытия, войти в субъективность человека не может. *А ненормальный путь* обязательно будет порождать *двуличие* (и даже *многоличие*), т. е. как раз тот феномен, который

так распространен за пределами школы и школой, так или иначе, в себя втягивается. Это и почувствовали герои тендряковской повести. И как будто становится очевидным, что, чтобы что-либо воспитать, необходимо изменять бытие. В тех формах организации общественной жизни, где нет добра, добро не воспитаешь, где нет красоты, не сформируешь эстетический вкус, где нет ума, умным не станешь. А где есть «всеобщая проституция» (К. Маркс), не торгануть совестью — даже не обязательно за бешеные деньги — ну кто устоит! Ну, кто всерьез принимает героя фильма «Премия», отказавшегося от премии? Попробуйте совместить деньги и нравственность! Даже наука, ищущая истину, на деньги покупается.

Естественно, что перед педагогикой тут возникают специфические задачи. С телеэкрана известный заслуженный деятель образования и культуры говорит, что сегодня главным становится не столько обучение, сколько задача *воспрепятствовать формированию у детей ненависти* — как характеристики, содержащей в себе отчужденность и легко воплощающейся в актах неадекватного социально-культурного поведения. С того же экрана мы слышим, что *дети очень доверчивы*, тянутся к разным «дядям и тетям», а это потом кончается плачевно. И в обоих случаях апелляция к психологии и педагогике. Надо их учить так, чтобы они понимали, что в «дядях и тетях» может сидеть страшное начало, что доверять *их* улыбке и *своему* еще хрупкому человеческому добродушию нельзя. Но и ненависти ни к кому держать не надо. Будешь доверчивым — и влипнешь в руки мошенников. А не будешь — недалеко и до человеконенавистничества.

Легко заметить, что задачка эта весьма противоречива, но поставлена она не школой, а самой действительностью.

Ибо только заборами и полицейскими мерами, понимают умные педагогические умы, дело воспитания в рамках «человеческой нормы» удержать нельзя.

Воспитание — это не только функция педагога или родителя. Бытие определяет сознание, то бишь всю совокупность содержательных форм человеческой психики, человеческой души.

Ребенок не знает, что такое смерть. Как ему это объяснить? Я любопытства ради прочитал большой сборник русских сказок и почувствовал сложную ситуацию Академии образования. Встал перед вопросом: можно ли их, эти сказки, читать ребенку? Государственные воспитательные ведомства, конечно, расставили везде «указатели» от 2+ до 16+. Но сказки пропустили.

А в них — такое нагромождение бесчувственного ужаса! Любой и каждый персонаж способен сожрать другого, отрубить ему голову, зажарить в печке, расчленив на кусочки, а через три года оживить и всякая прочая ужасная несутветность. Но как ребенок может воспринимать этот ужас?

Только воображая нечто другое, чем то, о чем говорится. Что это — другое? Некие смыслы человеческих отношений, которые делают несущественными натуралистические картинки и в которых исключается реальная полнота действительности. Ибо сказка и не обязана говорить то, что есть. Она выстраивает лишь пределы некоторых отношений. А натуралистическая нелепость, может быть, как раз и создает отстраненность от природы, тем более что в опыте ребенка такого рода наглядности еще не было, смерть не появлялась в глазах и не проникала в чувство. В дошкольные годы мне случилось видеть, как обдирали шкуру с живого зайца, пойманного в силки, — ноги, язык и моя нервная система надолго «зависли». А потом,

обнаружив в учебнике старшей сестры рисунки с демонстрацией анатомии мышечной системы, в багровых «мясных» красках и без кожи, я в ужасе захлопнул книжку и еще долгие времена боялся когда-либо ее открыть. Кому тут работа — психологам-педагогам или врачам? Или меня не надо было допускать к этим «реалиям» жизни?

Много всяких вопросов тут можно ставить, только вот, кажется мне, начитавшись таких сказок и незаметно втянув в себя совсем не пугающий натурализм, разве содрогнется душа подростка, когда он откроет повесть Тендрякова? А после сегодняшних телесюжетов Раскольников с его метаниями покажется просто простаком, на «пустом» месте ищущим проблемы. Может, такие сказки, захватывая своими пределами жизнь и смерть, готовят к реальному восприятию этих явлений? Есть ученые, которые этим оправдывают натурализм «фильмов ужасов», полагая, что визуализация страхов и ужасов адаптирует детей к жизни. Не задумываясь над вопросом, почему, если жизнь столь страшна и ужасна, к ней надо адаптироваться. И фантазии «научных» фантастов, устремляясь в далекий Космос, видят его только через прицел не менее фантастического оружия и только в образе «звездных войн». Начитавшись этих сказок и насмотревшись мультфильмов, мало отличающихся от «фильмов ужаса», как они, эти детишки, еще иначе могут увидеть мир?

Трехлетняя девочка долго, молча и пристально смотрит на свою, лишь по словам знакомую ей, умирающую двоюродную бабушку. Бабушка полулежала, говорила неслышно, но с узнаванием и пониманием окружающих, отрешенная, без всяких эмоций в восприятиях и мыслях. Такую абсолютную отрешенность и беспомощность девочка впервые видела и, кажется,

даже оторопела. Когда мама предложила ей попрощаться, поцеловать бабушку, девочка как будто вышла из оторопи и быстро сказала:

— Нет! Я издалека! — и стала, сохраняя неподвижность и неотрывно глядя на чистое спокойное лицо бабушки, прощаться движением ручонки.

Она будто чувствовала смерть, будто ее видела, и как хорошо, что ей не помешали всмотреться и вчувствоваться в эту ситуацию умирания. Не помешали тем, что не вдавливали ее туда и не выводили оттуда. В этой жизненной ситуации она впервые столкнулась со смертью, столкнулась не на словах, не в сказке, а реально. Смерть эта входила в ее сознание не образом страшной старухи с косой, а через очень «неестественное поведение» человека, окруженного людьми в непонятной тревоге и столь же неестественной заботе. Девочка как будто чувствовала некий обрыв в жизни взрослых, край, куда нельзя заступать, и ситуацию прощания навсегда. И не отрывая утонувшего в себе взгляда от умирающей, стала медленно пятиться к двери. Не замечая прощальных движений своей маленькой ручонки.

Здесь, где в человеческой скорби начинают плакать души, где взгляд заглядывает за грань естественно-привычного, где смерть является через образ поведения живых людей, — здесь впервые у ребенка появляется чувство внутреннего человеческого сострадания, глубокого внимания к трагическому моменту внутри человеческой жизни. Со смертью он сталкивается в *живых* людях и лишь только потом — в любых прочих ее изображениях.

Так, через другого человека, формируется человеческое чувство, формируется способность по-человечески относиться к реальностям человеческого бытия. Формируется как со-чувствие, как совместное

с другими чувство, человеческое отношение к трагическому содержанию жизни. Ибо смерть — тоже факт жизни.

В смерти жизни нет, но в жизни есть смерть. Пока я жив — нет смерти, пришла смерть — нет меня, говорил Эпикур. Но эта его мысль совсем про другое. Про глупости представления, что есть «жизнь после жизни». А здесь речь о том, что смерть живет в нашей жизни, в жизни человеческой культуры. И является великим фактором нашего активного бытия. Ну, разве я спешил бы делать то, что делаю, если бы не ощущал этой границы, столь отчетливо и столь непонятно обозначенной представлением смерти в моем сознании? Разве я испытывал бы страх перед бесконечностью, если бы сам был не ограничен во времени? Разве бы я строил храмы и молился Богу, прося его о спасении? Разве бы явилась высокая духовная музыка? И т. д. Культура создается, как будто желая в своей предметности объективно сохранить все то, что исчезает с телесной смертью человека. Меня повсюду, в каждой точке, тут-и-теперь, сопровождает возможность небытия. Только творением жизни я преодолеваю смерть своего бытия. Только продолжаясь в человеческом духе, я выхожу за рамки своей конечности. Умирание — это далеко не только то, что видела та маленькая девочка в больничной палате. И оно далеко не всегда есть некая утрата: как мое понятие и моя энергия воплощается в нечто объективно-предметное, так и ежедневное мое умирание прорастает жизнью моих трудов. В чем бы они ни заключались.

Так что же воспитывать?

Мать комментирует своей трехлетней дочке последние сцены «Сказки о рыбаке и рыбке», где старик уже окончательно оказался неспособным что-либо поделывать со своей старухой.

— Он с самого начала был глупый, — откликнулась на этот комментарий девочка.

Такая неожиданная оценка этой сказки трехлетним ребенком, право, повергла меня в задумчивость, у меня никогда не хватало ума таким образом отнестись к ее, этой сказки, смыслу. Всегда появлялось какое-то щемящее до слез чувство, обращенное к зловредной старушечке. А тут трезвое, рассудочное суждение.

Когда мне попалась упомянутая выше книга русских сказок, я терпеливо и внимательно ее прочитал до конца, ничего не шелохнулось в моей душе. Кроме негодования. Какие там слезы! Ужас с примитивными мотивами действий примитивных героев: то неудержимое желание жениться на богатой невесте, то оттяпать город-государство и т. д., и все это сопровождается отрубанием голов, страшным изуверским обманом и т. д., а заканчивается пошлым счастьем до дурости примитивных и ограниченных «будто-людей» с блаженно-пустыми глазами.

В этих сказках только дурак бывает умнее всех, не столь примитивен и не столь глуп. Я уж не говорю о стилистическом слоге: составители, вероятно, пытались воспроизвести то, как язык бытует в народе. В двух-трех сказках я обнаружил сюжеты, заимствованные А. Пушкиным и Л. Филатовым. Поэты блестяще выразили то, что через сказку народ чувствовал. Какое же разительное отличие! Потому в сказке и радость, и слезы. Из сказки они, и слезы и радость, переходят и в мою, читателя, действительность.

Все знают, что такое рецептурное знание, — это делай как сказано и не спрашивай, почему. Форма эта культивируется не только в школе, но и в самой действительности человеческого бытия.

Нравственной чуткости из такого «воспитания» дожидаться нельзя. Школьный учитель у Тендрякова начинает понимать рецептурность своих нравственных максим.

А трехлетний ребенок вдруг задается вопросом, почему сгорающая трава превращается в дым и в пепел. Никакие объяснения ему ничего не объяснили. Как не может объяснить естественная наука ни одной функции человеческой души. Потому что ребенка заинтересовало не просто превращение некой одной определенной вещи в другую, с чем он сталкивается в привычном уже опыте. Попытка понять смерть показывает, что биология как наука оставляет проблему смерти бессмертной. Превращение тела в прах столь же понятно, как превращение травы в пепел. Но эти банальности, сколь бы они ни были сложны сами по себе, не объясняют того, что лежит за этим опытом. Ребенок ставит вопрос, совершенно метафизический вопрос: почему *превращается*? Почему *есть* превращение.

В этом вопросе, легко заметить, звучит некое предчувствие проблем субстанциального характера, что объективно и дает возможность взрослым вывести (ввести) ребенка в проблемность человеческого мира. Который разворачивается пред глазами от чуда рождения до трагедии смерти. И скажите вот: можем мы это делать?

А ведь целостность научного мировоззрения — это не догматичная картина устойчиво-покоящегося бытия. «Быть или не быть» — это не вопрос Гамлета, это вечный вопрос любой и каждой *человеческой личности*, ощущающей трагизм жизненного исторического процесса, личности, для которой ничего простого в этой жизни нет. И которая трагедию бытия в полной мере принимает на себя. Которая далека от сказочно-иллюзорных идеалов живых «кукол-барби» в человеческом обличье.

Нравственность внутренне сопряжена с мышлением. Но не с той рассудочной его формой, которая развернута формальной логикой. А с формой разума, которая обнаруживает себя в этом нравственно-интегральном отношении человека к человеку. Без всякого рассудочного размышления, но с полной опорой на *истину* бытия, вошедшей в меня через опыт моей жизни внутри человеческих отношений. Более того, я должен уметь сознающим себя мышлением обосновать свою нравственную позицию как истинную.

Даже Бог ставится под сомнение, — и человечество ищет способа его логического доказательства. Страшно много надо ума, чтобы стать и быть человеком! Религия предлагает другой путь. И на ее пути много ума не надо, его, ума, нужно столько, чтобы необъясненным началом объяснять все необъясненное. Вы можете объяснить, почему трава превращается в нечто вполне определенное другое. Но естественно-научный рассудок никогда не объяснит метафизическую загадку превращений. Здесь — великий *философский* вопрос. Примитивное мышление тут ничего поделывать не может и впадает в религиозный миф. И миф создает иллюзию объяснения, душа, затронутая болью мира, успокаивается, и глаза слезятся радостью якобы разгаданной загадки бытия. Как ведь легко заметить *особенность глаз* верующего человека! Глаза, несущие в себе *понятие*, — совсем другие!

Занимаясь логическим доказательством бытия бога, мировая философия немало сделала для понимания самой логики. Ибо наткнулась на противоречия того же рода, на какие в сфере нравственности натолкнулись герои повести Тендрякова. Художественное произведение ничего не стоит, если оно не способно выявить и заострить

противоположности и столкнуть их в непримиримом противоречии. Я. Э. Голосовкер в своей книге «Достоевский и Кант» пытается показать, что позиции братьев Карамазовых у Достоевского — художественные образы логических противоречий, зафиксированных Кантом в «Критике чистого разума».

Знаменитые кантовские антиномии чистого разума — это противоречия, на которые наталкивается наше мышление, если оно логично-последовательно. Попадая в абсурд противоречия (одновременно и в одном и том же отношении дано А и не-А), мышление останавливается перед непознаваемой «вещью в себе»: вы знаете, что она есть, но вы не можете ее постичь. Этот тупик означает границу возможностей мышления, а то, что за этой границей, принципиально непознаваемо. В него можно только верить.

Но разве может помочь героям Тендрякова, которые попадают в нравственное противоречие, какая-либо *вера* во что бы то ни было? И *мышление* тут ничего сделать не может. А что может сделать юридическое право? Как, и можно ли вообще, примирить противоположности? Принимая то или иное решение, мы берем ответственность на себя. А желая обойти эти обстоятельства, перекладывая и решение, и ответственность на другого, — мы входим в противоречие со своей совестью. Но жизнь — это всегда «решение уравнений». И каждый раз надо находить то вполне определенное неизвестное, при условии наличия которого уравнение решается, неравное приравнивается. Логическое противоречие требует, однако, такого условия для своего разрешения, которого в составе логических форм нет: традиционная логика вообще запрещает противоречие. Нет их и в содержании нравственного сознания. Потому любые нравственные максимы всегда догматично-односторонни.

Есть некоторая правда в том, когда запутавшееся в противоречиях сознание ссылается на диалектику. Разумеется, в массе мнений, предположений и суждений есть то, в чем обнаруживается их различие и противоречие, но банальная ссылка на диалектику, однако, не есть решение, а есть всего лишь простой отказ от дальнейшего поиска. О диалектике много досужих рассуждений, редко среди них можно встретить способные питать ум. А диалектика в самой действительности — это ситуация, где противоположности объективно есть, и они субъективно предстают одинаково обоснованными. Именно здесь, в этом данном особенном содержании и следует искать конкретный способ разрешения противоречия. Ни конвергенция, ни толерантность, ни прочее подобное не есть действительный способ разрешения противоречия, ибо в том, что мыслится в этих понятиях, к чему бы они ни относились, разрешения нет, противоположности остаются, и Иван Карамазов содержанием своего образа не снимает противоречие своих братьев.

Но жизненный процесс тем не менее находит способ разрешать возникающие противоречия. Иногда с умом, иногда без ума. Но лишь умеющее работать в формах диалектики мышление умеет найти и обосновать все необходимые условия разрешения противоречия, т. е. понять ситуацию в полноте определяющих ее обстоятельств, иначе говоря, в логике возникновения и в логике разрешения.

Реальный случай заставляет героев Тендрякова мучаться душой и мыслью. Замечали, как смеются изуродованными частной собственностью мозгами взрослые мужи над ленинским определением нравственности? А попробуйте сами сказать, что такое добро? Добро, ставшее проблемой для всей школы, ученик

которой убил отца. Что такое красота, которая, по Достоевскому, спасет мир? И что такое Бог, который сотворил все, что есть? Помните настойчивый вопрос трехлетней девочки: «Почему, почему *превращается?*» Почему *есть* то, что *есть*, — выразит в самой предельной форме философ. Если вы будете о добре говорить не в формах тендряковских антиномий, а в представлениях уютных «будто-людей», вырастет «из сына свин».

Потому и снова и еще раз — что же надо воспитывать? Как же мы своим умом разгадаем эту загадку воспитания? Как же снять проблему «быть или не быть»? Или в более частной форме, как у Тендрякова, — убить или не убить?

Кант, проанализировав состав мыслящей способности, показал, что противоречие неустранимо из нашего сознания, и, натолкнувшись на него, дальше мышление идти не может. Тупик. И убить нельзя, и миловать негоже. Бывает, люди сходят с ума, ибо абсурд не только в сознании, но и в реальной действительности. Как в повести Тендрякова. И в петлю, бывает, лезут. Или, в легком случае, бегут в гастроном. Кант говорит, выхода нет, знать, что лежит за противоречием, нельзя. Может, что-то есть, а может, ничего нет. То ли Бог, то ли абсолютная бесконечная пустота. То ли вещь, но только в «себе». В любую возможность можно только верить. Булгаковский Воланд такой кантовский вывод называет шестым доказательством бытия Бога.

Обыватель, потревоженный своей совестью или развернувшейся в его жизненной ситуации трагедией, бежит если не с молитвами к Богу, то к ясновидящим, а на последний случай — к гадалкам. А верящие в науку заранее запасаются своими собственными психоаналитиками — как банкиры адвокатами. Ума здесь не больше, чем наивности, но что

поделаешь, если не можем разобраться ни с душой, ни с совестью в душе. Да и во внешней жизни масса, казалось бы, неразрешимых противоречий. А тут вот с квадратурой круга и несоизмеримостью длины диаметра с длиной окружности люди мучаются. И с теоремой о существовании.

Сложно разобраться умом в своей совести, в тех нравственных проблемах, в которые мы попадаем. Как поступать, говорят, совесть подскажет. Бывает, что совесть молчит, — нам начинает казаться, что ее и вовсе нет. А бывает, что совесть нас мучает, и тут мы будто бы знаем, что делать, но рассудок нас почему-то направляет в другую сторону. А бывает, что совесть мучается сама, не зная, как поступить. Ибо оба пути как бы оправданы и оба будто бы невозможны. Как в ситуации с героями повести Тендрякова. Или в водевиле Валентина Катаева «Квадратура круга».

Здесь противоречие, и логическая наука давно изучила это фактическое обстоятельство. Якобы от Аристотеля идущая традиция логической науки запрещает противоречие в мысли и требует обоснованного устранения одной из противоположностей. В античности же возникающая диалектическая форма мысли, наоборот, считает, говоря словами Гегеля, что «противоречие есть критерий истины, отсутствие противоречия — критерий заблуждения» [7, с. 265]. Но когда мы попадаем в ситуацию противоречия, становится ли нам понятнее нравственная проблематика, становится ли мне яснее, как утвердить в мире справедливость и добро?

А вот четырехлетняя девочка утром сетует, что совесть просыпается вместе с ней и не дает ей спать. Эта совесть все говорит и говорит, чтобы не спала, чтобы собрала свои игрушки, которые разбросала вчера. На вопрос, кто же она такая,

эта совесть, девочка ответила рисунком, на котором изобразила красками широко растянутое лицо с огромными черными пятнами-глазищами на зеленом фоне и широким фиолетово-коричневым ртом с провалом в уходящее вниз отверстие горла. А на обороте нечто подобное, только фломастером. Это подобие на обороте она назвала сестрой совести, а на вопрос, почему же сестра такая скромная, не раскрашенная, ответила, что она такая потому, что имя у нее «голая правда». Почему-то сразу выплывают образы Сальвадора Дали.

Вот так. Проснувшаяся совесть мешает девочке жить, и даже сестра у нее — чистая правда, спрятанная на обороте и сохраненная только в контуре, — неустранимо сидит в сознании. Толкуйте как хотите, но девочка, как видно, хорошо знает, что нет совести без истины. Ибо уверенно извлекает из себя это знание-представление. Но у нее, говорит она, есть еще черная совесть. И она тоже мешает жить, потому что она, эта черная совесть, не знает, как надо жить правильно, и все разбрасывает. И этим мучает. Они между собой дерутся — белая и черная совесть. Но сестра совести, чистая истина, живущая на той же плоскости с ее обратной стороны (которая, плоскость, ни в сказке, ни в геометрии, ни в детском сознании не имеет толщины), *всегда тут* — как внутренняя форма ее, этой совести (в обоих ее облициях — белом и черном), внешнего проявления. Может быть, внешний образ совести и содержит в себе столько красок — черная, фиолетовая, зеленая, лиловая, коричневая — в чистых и смешанных тонах, сквозь которые проступают всевидящие глаза и страшный жабий рот.

И плохо будет, если в сорок лет все это получит устойчивое различие и обособленное бытие, и каждая обособленная форма будет господствовать

в зависимости от «свободного» выбора, диктуемого внешними условиями. Контуров сестры-истины потеряют отчетливость. И какая тогда сила сможет просветить изменчивый чувственно-красочный образ совести, как можно будет понять, от чего она зависит в своем хамелеоньем поведении?

Определение этой силы, определяющей деятельность совести, определение того Я, нравственным самосознанием которого она является, — это вопросы неких последующих рассуждений. В которых — и проблема *абсолютного* в составе человеческого бытия, и проблема *духа* и его силы.

Да, по-разному можно толковать рисунки четырехлетнего ребенка. Но все эти толкования будут более определенными и значимыми, чем толкования «Черного квадрата» Малевича.

Но всегда остается открытым вопрос, удержит ребенок в реальных условиях современного бытия способность самоопределяться через истину или мучающая сегодня в любом вопросе совесть завтра без всяких мук будет жить протитупирующими принципами буржуазного мира. Будет продажной и алчной в модном тренде сегодняшней действительности — и самосознание потеряет определение совести. И перманентный *праздник* жизни человеческой души, как бы мог сказать мудрый Сенека, уйдет, исчезнет внутри филистерской пошлости.

Литература

1. *Гарин-Михайловский Н. Г.* Детство Тёмы: автобиографическая повесть. М.: Детская литература, 2012. 216 с.: ил. (Школьная б-ка).
2. *Тендряков В. Ф.* Затмение: повести. М.: Современник, 1986. 685 с.: ил.
3. *Волошин М. А.* Стихотворения. Статьи. Воспоминания современников. М.: Правда, 1991. 478 с.

4. Хемингуэй Э. Избранное. М.: Просвещение, 1984. 304 с.: портр. (Школьная б-ка).
5. Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 5: Преступление и наказание. М.: Правда, 1982. 544 с. (Б-ка «Огонек»).
6. Моравиа А. Скука: роман / Пер. с итал. С. Бушуевой. СПб.: Худож. лит., С.-Петербург. отделение, 1992. 270 с.: ил.
7. Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет: в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1970. 667 с. (Философское наследие).

Поступила 27.02.2018

Лобастов Геннадий Васильевич — доктор философских наук, профессор, профессор кафедры общих закономерностей развития психики Института психологии им. Л. С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета (Россия, 125993, Москва, Миусская пл., 6); профессор кафедры философии (№ 517) Московского авиационного института (национальный исследовательский университет) — МАИ (Россия, 125993, Москва, Волоколамское ш., 4), lobastov.g.v@yandex.ru

References

1. Garin-Mikhailovskii N. G. Detstvo Temy: avtobiograficheskaya povest' (Tyoma's Childhood: Autobiographical Story), M., Detskaya literatura, 2012, 216 p., il., Shkol'naya b-ka.
2. Tendryakov V. F. Zatmenie: povesti (Eclipse: Stories), M., Sovremennik, 1986, 685 p., il.
3. Voloshin M. A. Stikhotvoreniya. Stat'i. Vospominaniya sovremennikov (Poems. Papers. Memoirs of Contemporaries), M., Pravda, 1991, 478 p.
4. Kheminguei E. Izbrannoe (Selected Works), M., Prosveshchenie, 1984, 304 p., portr., Shkol'naya b-ka.
5. Dostoevskii F. M. Sobranie sochinenii, v 12 t. T. 5, Prestuplenie i nakazanie (Collected Works, in 12 Vols., Vol. 5, Crime and Punishment), M., Pravda, 1982, 544 p., B-ka "Ogonek".
6. Moravia A. Skuka: roman (Boredom: A Novel), Per. s ital. S. Bushuevoi, SPb., Khudozh. lit., S.-Peterb. otd-nie, 1992, 270 p., il.
7. Gegel' G. V. F. Raboty raznykh let, v 2 t. (Works of Various Years, in 2 Vols.), T. 1, M., Mysl', 1970, 667 p., Filosofskoe nasledie.

Submitted 27.02.2018

Lobastov Gennadiy V., doctor of philosophical sciences, professor, professor of the Department of theory and history of psychology at Institute of psychology named after L. S. Vygotsky, Russian State University for the Humanities (Russia, 125993, Moscow, Miusscay square, 6); professor of Philosophy Department (No. 517), Moscow Aviation Institute (National Research University) — MAI (4, Volokolamskoe shosse, Moscow, 125993, Russia), lobastov.g.v@yandex.ru